

ЛЯМАН БАГИРОВА

ДВА ЭССЕ

Сломанное копьё

Принято считать, что те, кто веселит других, сами люди угрюмые и мрачные. Не знаю...

Маленькая клоунесса Майя – далекое воспоминание, островок безграничного света и счастья в моей душе. Она и в жизни была такой же искрящейся и веселой, как на арене.

Кипарисовый воздух, низкие звезды, август в Феодосии – это мои десять лет. И маленькая клоунесса, приехавшая на отдых в Крым. Мы снимаем комнаты в большом доме: в одной – родители и я, в другой – Майя. И все дни проводим вместе!

Меня за уши не оттащить из ее комнаты! Ах, какое богатство: огромные театральные веера, шляпки, разноцветные костюмы (Бог знает, для чего она привезла их с собой), которые она беспрестанно чинила, тряпичные куклы и уйма мотков цветной пряжи – Майя каждую свободную минутку вяжет. Кофточки, шали, шарфы, скатерти. Вязание нарядное и ... неоконченное. Ни одно!

Майя хохочет, и развеселые слезы брызгают на короткий веснушчатый нос.

– Ну, такая уж я Пенелопка уродилась, – говорит она, – ничего не могу окончить. Скучно! А должно быть весело!

И она снова смеется. И кажется, что солнце смеется вместе с ней – солнцем залита ее комната!

– Нет, я не Пенелопка, – переводит она дух, – я чеховская Душечка!

Я не знаю, кто это такая, и Майя, стараясь быть серьезной, поясняет:

– Видишь, у меня все вещи – то там что-то оторвано, то здесь отломано. А у Чехова есть такой рассказ «Душечка», там героиня похожа на кресло с отломанной ножкой.

Это уже интереснее, чем веера и шали. Чтобы человек был похож на мебель – такого мне еще не приходилось слышать. Я распахиваю глаза пошире, а Майя, видя мое недоумение, снова смеется:

– Ей просто грустно, рядом с ней никого нет, и ей кажется, что она – как ненужное кресло без одной ножки.

Вдруг ее улыбка меркнет, и Майя произносит как бы внутрь себя:

– Поломанные вещи – как люди, у которых никого нет.

О том, что у самой Майи нет ни семьи, ни детей, ни близких, я не знаю. Да это и не волнует мое десятилетнее сердце. Ее облик не вяжется с тем, что люди называют печалью.

Майя на минуту умолкает и задумчиво постукивает по столу чайной ложкой. У той необычная ручка, длинная, в виде двух всадников – одного худого и длинного, на тощей кляче, и другого – толстенького, кругленького, на осле. У худого всадника в руках сломанное копьё.

– Даже Дон-Кихот мой инвалид, – роняет Майя и вновь улыбается.

Улыбка ее широкая, светлая, но мне почему-то уже не так весело.

Майя, резко встравнувшись, начинает негромко декламировать:

*Кто говорит, что умер Дон-Кихот?
Вы этому, пожалуйста, не верьте:
Он не подвластен времени и смерти,
Он в новый собирается поход.
Пусть жизнь его невзгодами полна –
Он носит раны, словно ордена!
А ветряные мельницы скрипят,
У Санчо Пансы равнодушный взгляд –
Ему-то совершенно не с руки
Большие, как медали, синяки.
И знает он, что испокон веков
На благородстве ловят чудаков,
Что прежде, чем кого-нибудь спасёшь,
Разбойничий получишь в спину нож...
К тому ж спокойней дома, чем в седле.
Но рыцари остались на земле!
Кто говорит, что умер Дон-Кихот?
Он в новый собирается поход!
Кто говорит, что умер Дон-Кихот?*

Я мало что понимаю. Но картинка навсегда отпечатывается в сердце: крымский август, светлая комната, на столе – персиковое варенье в вазочке и ложка с затейливой ручкой. Смешная клоунесса читает серьезные стихи. Это было мое первое знакомство с поэзией Юлии Друниной.

Это потом уже я узнала, что больше всего на свете Юлия Друнина любила старокрымские леса, а жили мы неподалеку от них. И в том, что впервые ее стихи прозвучали для меня именно в этих местах, я бы усмотрела особый знак Судьбы. Но тогда, в далеком 1979 году, ни о каких знаках судьбы вообще не думалось.

*Куры, яблони, белые хаты –
Старый Крым на деревню похож.
Неужели он звался Солхатом
И ввергал неприятеля в дрожь?*

*Современнику кажется странным,
Что когда-то, в былые года,
Здесь бессчетные шли караваны,
Золотая гуляла Орда.*

Второй раз стихи Юлии Друниной я открыла для себя уже в институте. Маленькая книжка в зеленом переплете. На обороте титульного листа изображена очень красивая женщина. Светлые локоны, изящный, но твердый овал лица, огромные лучистые глаза, аристократическая форма носа. Первое впечатление: волевая и хрупкая. Вглядевшись лучше, поняла – больше хрупкая. Пронзительно вспомнилась ложка с ручкой в виде всадников. Дон-Кихот с обломанным копьем. По сути, таким же Дон-Кихотом была она сама...

Ее стихи прицельны и лаконичны, лиричны и по-военному строги. Казалось бы, сама судьба готовила ее к солдатской доле, к войне, где нет полутонов – мир делится на черное и белое, на своих и чужих.

Юлия Владимировна Друнина родилась 10 мая 1924 года. День рождения стал для нее особенно дорогим после 1945 года, ведь праздновался он на следующий день после Победы. Победы, которую старшина Друнина по праву могла назвать своею.

*Нет, это не заслуга, а удача –
Стать девушке солдатом на войне,
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!...*

Она родилась в Москве в семье педагога и библиотекаря. Училась в школе, где преподавал историю ее отец. Возвращалась в коммунальную квартиру, где они жили, и в которой мать после работы давала уроки музыки. С детства писала стихи и была уверена, что станет литератором.

«В школьные годы я была, так сказать, жрицей чистого искусства. Писала только о любви, преимущественно неземной, о природе, конечно, экзотической, хотя не выезжала никуда дальше дачного Подмосковья. Замки, рыцари, прекрасные дамы вперемешку с ковбоями, лампасами, пампасами и кабацкими забулдыгами – коктейль из Блока, Майна Рида и Есенина. Всё это мирно сосуществовало в этих ужасных виршах. Мы пришли на фронт прямо из детства. Из стихов моих сразу как ветром выдуло и цыганок, и ковбоев, и пампасы с лампасами, и прекрасных дам» (из воспоминаний Ю. Друниной).

Десятиклассницей она начала свой путь по дорогам войны. Первый шаг к фронту был сделан в глазном госпитале, где она работала по совету отца, затем, после эвакуации родителей, в сибирском военкомате («...Я видала один военкомат – / Свой дот, что взять упорным штурмом надо»), потом в хабаровской школе авиаспециалистов, где получила первую премию за литературную композицию. И, наконец, в звании санинструктора в 1943 году ее направили на Белорусский фронт.

В боях на территории Белоруссии близ поселка Озаричи погибла близкая подруга Юлии – медсестра Зинаида Самсонова, впоследствии Герой Советского Союза. Именно ей Друнина посвятила одно из проникновенных своих стихотворений «Зинка». Друнина видела, как гибли молодые ребята, которым не было еще и двадцати лет. В одном из стихотворений она приводит статистические данные: «По статистике, среди фронтовиков 1922, 1923 и 1924 годов рождения к концу войны в живых осталось три процента».

*Я только раз видала рукопашный,
Раз – наяву, и тысячу во сне,
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.*

В боях за Латвию она получила тяжелое ранение в шею. Осколок едва не перерезал сонную артерию, осталось всего два миллиметра. Из госпиталя Друнина вышла инвалидом. Вернулась в Москву, пыталась поступить в Литературный институт. Но неудачно, стихи ее называли незрелыми.

Инвалидность давала ей возможность не возвращаться на фронт, но она настояла на отправке в свой полк. Однако в одном из боев она была контужена и вскоре комиссована – 21 ноября 1944 года. (Спустя ровно 47 лет в этот же день Юлия Друнина трагически уйдет из жизни)

С фронта Друнина возвращалась с орденом Боевого Красного Знамени. И, как была – в сапогах и солдатской шинели, начала посещать занятия в Литературном институте. Выгнать инвалида войны никто уже не решился.

До конца своих дней она так и не смогла забыть военные годы. Все ярче и ярче становятся фронтовые образы. Они мучают ее, не дают покоя. Мерилом несчастий для нее на всю жизнь остается война. Она видела и слышала войну во всем – в шелесте подмосковной листвы, шуме московских улиц и грохоте крымского приобоя, который «звякает отстрелянными гильзами».

*Я порою себя ощущаю связанной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной...
Я – связанная.
Бреду в партизанском лесу,
От живых
Донесенье погибшим несусь.*

Даже спустя десятилетия по военной привычке она делила окружающих на своих и чужих, чувства – на любовь и ненависть, а цвета – на черное и белое. И когда в начале 90-х перевернулось с ног на голову все, чем она жила, что любила, во что верила, поэтесса просто не смогла этого пережить: «*Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть*».

А еще Юлия Друнина не могла жить без любви. «*От первой любви до последней/ у каждого целая жизнь*», – писала она. Ее первой любовью был молодой комбат – учитель из Минска, погибший у нее на глазах.

*Убивали молодость мою
Из винтовки снайперской,
В бою,
При бомбежке
И при артобстреле...
Возвратилась с фронта я домой
Раненой, но сильной и прямой –
Пусть душа
Едва держалась в теле.*

Вторую любовь встретила она в Литинституте в 1944 году. Это был начинающий поэт Николай Старшинов. В этом же году Юлия и Николай поженились, и вскоре на свет появилась маленькая дочка Лена. События были радостными, но такими стремительными, что Юлия сразу ощутила бег времени. А мириться с этим она – красивая женщина – принципиально не хотела.

*Скажи мне, детство,
Разве не вчера
Гуляла я в пальтишке до колена?
А нынче дети нашего двора
Меня зовут с почтеньем
«мама Лены».*

Красота была одновременно ее счастьем и бедой одновременно. Очаровательна она была настолько, что однажды на вопрос американских журналистов, как ей удалось сохранить такую потрясающую женственность на фронте, Друнина с достоинством ответила, что на войне как раз и отдавали жизни во имя красоты, женственности и материнства, потому что на этом строится мир.

Но и страданий красота приносила ей немало. Один из конфликтов был с поэтом Павлом Антокольским, который тогда вел у нее семинар. Антокольский настойчиво и гадко приставал к Юлии, и свидетелем этой сцены стал Старшинов. Они повздорили, и учитель, который до этого всегда хвалил стихи своей студентки, отчислил ее с курса «за бездарность»... Вскоре Друниной разрешили перевестись на другой семинар. Но принципиальная и бескомпромиссная Юлия не забыла обиды и через какое-то время резко выступила на собрании в Союзе писателей против П. Ан-

токольского. Выступление совпало с тем временем, когда шел разгром так называемых космополитов и было воспринято не только как антисемитское. Некоторые литераторы долго помнили и не могли простить ей его. Приписывали Бог знает, какие грехи. А выступление против него можно оценить лишь как реакцию обиженной девочки на бесцеремонное обращение с ней. Не больше. Девочки, которую оскорбили...

Второй раз ей стал оказывать недвусмысленные знаки внимания поэт Степан Щипачев. Пригласил к себе в редакционный кабинет, чтобы отобрать что-то из ее стихов для печати в журнале «Октябрь». Муж проводил ее до редакции, но сам остался ждать на улице. Но не прошло и четверти часа, как она выбежала к Николаю вся раскрасневшаяся:

«Ты представляешь, что придумал этот старый дурак? Только я вошла к нему в кабинет, он весь расплылся в доброй улыбке: «Очень хорошо, Юля, что вы пришли. Садитесь, садитесь вот сюда, на диван. Я уже прочитал все ваши замечательные стихи. И мы их непременно напещатаем. (У Щипачева был дефект речи, он произносил вместо ч – щ)»

Он сел рядом со мной на диване. Я отодвинулась от него, а он снова сблизился и обнял меня за талию. Я стала отстраняться. И тогда он произнес такую дурацкую речь: *«Ну, щего вы боитесь, нашей близости? Но ведь об этом никто не узнает. А зато у вас на всю жизнь останутся воспоминания о том, что вы были близки с большим советским поэтом!..»*

Я вскочила с дивана и стрелой вылетела на улицу от «большого советского поэта...»

К этому остается добавить, что стихи Юлии не появились в «Октябре», ибо «большой советский поэт» был разгневан и так отреагировал на несговорчивость юного дарования.

Лишний раз ее твердость и принципиальность подтверждает событие, произошедшее в 1952 году. От журнала «Сельская молодежь» ее командировали в Белоруссию, в село Озаричи. Здесь работал заслуженный учитель-фронтовик, о котором нужно было написать очерк. В гостинице ее встретила приветливая девушка, найти орденосца помогли мальчик и его дедушка. Однако встреча с ветераном разочаровала: он оказался надменным, кичащимся своими заслугами стариком, к тому же постоянно заискивающим перед поэтессой. Друнина наотрез отказалась писать о нем, но с нежностью вспоминала мальчика и его дедушку.

Тяготы послевоенного быта Друнина переносила стойко. Никто не слышал от нее ни жалоб, ни упреков. Но постепенно накапливались усталость, изможденность, она искала поддержки и не могла ни в ком ее найти. К этому времени отношения с Николаем Старшиновым сошли на нет... Вскоре они разошлись.

И именно в это нелегкое для нее время она встретила третью и самую яркую свою любовь – человека, который удивительно трогательно и трепетно к ней относился: Алексея Яковлевича Каплера, знаменитого сценариста, ведущего «Кинопанорамы», первую любовь Светланы Алилуевой.

Юлия стала его последней любовью и последней женой. Он был старше Друниной на 20 лет, но никто этого не чувствовал. Алексей Яковлевич сумел окружить ее такой теплотой и заботой, что Юлия ощущала себя счастливой каждый час, каждую минуту. Он ограждал ее от всех бытовых забот, и это было очень ценно и трогательно, потому что в быту Юлия Владимировна была совсем беспомощна. Он знал, что она нуждается в особых, небанальных и ярких знаках внимания, что каждую минуту ей надо говорить, что она красива, любима, талантлива и делал это. Мог, например, зная, что она возвращается из-за границы, поехать встречать ее из Москвы в Брест. Когда поезд остановился, все ахнули: на перроне стоял Алексей Яковлевич с огром-

ным букетом цветов. Или посылать ей в самолет телеграммы, просто чтобы сказать, как он ее любит. В то время, как люди вокруг расходились и разводились, их семья оставалась островком семейной стабильности. Он понимал каждое ее слово, каждое дыхание.

Когда Каплер заболел, Юлия забросила все – стихи, общественную работу – и занималась только им. Когда врачи сказали, что жить ему осталось недолго, сделала все, чтобы муж об этом не узнал. Возможно, он догадывался, что его дни сочтены, но Юлия ни словом, ни жестом не дала ему этого понять. В его присутствии она всегда держалась, а плакала только тогда, когда он не видел. Само присутствие Алексея Яковлевича как будто облагораживало людей, находящихся рядом с ним, и Юлию – тоже: без него она была бы другой – более жесткой, даже черствой. Муж во многом ее смягчал, делал добрее, нежнее.

Лишившись опоры, Юлия Владимировна осталась один на один с реальной жизнью:

*Как страшно теперь просыпаться!
Как тягостно из Небытия
В Отчаянье вновь возвращаться –
В страну, где прописана я.
Весь мир превратился в пустыню,
Все выжжено горем дотла.
Какой я счастливой доньше,
Какой я счастливой была!..*

Это строки из поэмы «03», посвященной Каплеру. Поэма звучит как реквием по самой себе, будто уже тогда она похоронила себя вместе с мужем под черной гранитной плитой на старокрымском кладбище...

Мир вокруг продолжает рушиться. Все, что было понятным, исчезает, разывается. Юлия Друнина оказывается лишним – беспомощным и беззащитным – существом.

В 1990 году Друнина была избрана депутатом Верховного Совета СССР, хотя не любила заседания и совещания... Хотела защитить интересы и права участников войны. Не могла видеть, как страдают фронтовики ее поколения, как просят милостыню в переходах покаленные в Афганистане мальчишки.

Когда Друнина поняла, что реально изменить ничего не может, она отказалась от депутатского мандата. Вечный Дон-Кихот, она обломала не одно копьё в политических битвах. Но слабели руки, ломались копья, а ветряные мельницы новой истории по-прежнему издевательски вертелись. И Юлии Друниной становилось страшно. Даже на войне не было так страшно – там, по крайней мере, все было понятно, где свои, где чужие. А сейчас в мире все перемешалось и в дьявольской этой мешанине маленькому Дон-Кихоту не было места...

У нее была еще одна фобия – она очень боялась стареть. Это, увы, беда всех женщин, но красивые переносят ее болезненно. Юлия Владимировна запрещала печатать поздравления, где указывался ее настоящий возраст. И в официальных биографиях долго отсутствовал год рождения Друниной. Ей хотелось выглядеть не просто молодой, но и молодой, но ведь время не обманешь.

Как потом выяснилось, она замыслила самоубийство чуть не за год до того, как совершила его, – продумала и предусмотрела каждую деталь. Да, она не могла принять новую страну и себя в ней. Но, возможно, будь рядом с ней любимый человек, и не было бы того ужасного ноябрьского дня 1991 года, когда Юлия Владимировна зашла в гараж, где стоял старый «москвич», и, выпив снотворное, отравилась выхлопными газами. Письма с объяснениями своего поступка она оставила дочери,

зятю, внучке и единственной подруге – вдове поэта-фронтовика Сергея Орлова – Виолетте. Также оставила письмо для милиции.

С зятем Юлию Владимировну связывали очень теплые, доверительные отношения, они питали друг к другу безграничное уважение. Именно ему была адресована прощальная записка, которую Друнина прикрепил к двери гаража: «*Андрюша, не пугайся! Вызови милицию и вскройте гараж!*». Подругу и дочь она попросила отвезти урну с ее прахом в Старый Крым и похоронить в одной могиле с Каплером, где в свое время оставила на могильном камне место и для ее имени.

«...Почему уйду? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире, такому несовершенно существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл...», – писала Юлия Друнина в одном из последних писем.

Крепкого тыла у нее уже не было. Оставалась хрупкость и ранимость. Сломанное копьё одинокого Дон-Кихота.

В августе 1979 года я с родителями и Майей посетили могилу А.С.Грина на старокрымском кладбище. Никто не знал тогда, что всего через двадцать дней здесь найдет покой Алексей Каплер, а еще через 12 лет и его жена – поэт Юлия Друнина. На маленькой стеле их профили выбиты вместе.

*Ты – рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любимый,
За то, что ты есть на свете.
Ты – рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить..
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!*

Свет далекой звезды

Запахи, звуки, краски. Три волшебных кита, на которых стоял Новый год. И сердце мое летело навстречу этим китам, вбирало их сердцем, распаханутыми от счастья глазами.

Запахи. На первом месте, конечно же, кухня! Царь ароматов – пражский торт. В кухне колдует мама, а значит, будут и салаты, и закуски, и жаркое, и среди них – царь ароматов, пражский торт, нежнейший, словно шоколадное облако. И, конечно же, из столовой плывет аромат елки – царицы праздника, настоящей, с темно-изумрудной хвоей!

Звуки. Шелест, шуршание и шорох. Изумительный – до дрожи в сердце! – шелест распаковываемых подарков. Шорох и шуршание нарядной бумаги и картонных коробок, из которых извлекается сверкающее чудо – елочные игрушки.

Краски. Боже, сколько их! Разноцветный карнавал жизни – зеленые плюшевые занавески, бордовый ковер, белая скатерть и красавица ель, вспыхивающая яркими огнями. Предвкушение праздника сильнее его самого. Кажется, что и жизнь надо прожить вот так, предвкушая праздник!

Но в 1981 году к трем волшебным китам прибавилась грустная акула по имени Болезнь. И мир запахов, звуков, красок сразу увеличился. Прибавился запах лекарств, звук шаркающих тапочек и приглушенные цветочные пятна. Ослабевший после тяжелого гриппа организм наотрез отказывался бегать, а глаза болели от яркого света. Но попробуй в 12 лет от роду не покидать кровать, когда всю ощущается праздник! Пытка! Даже книги любимые не спасали!

Чтобы как-то удержать меня в лежачем состоянии, мама поставила около кровати радиоприемник. Энтузиазма он у меня не вызвал.

– Зачем? – безучастно спросила я. – Концерт по заявкам слушать?

– Хотя что-нибудь! – вскипела мама. – Ты понимаешь, что тебе пока скакать нельзя? Целый месяц болела, еле оклемалась. Ходишь, держась за стенку, как тень. Надо ведь восстановиться, набраться сил. Понимаешь?!

Я не понимала. Зато ясно осознавала, что бесцельное валяние в кровати продолжится. Маме, очевидно, было немного стыдно передо мной, но, что поделать – режим есть режим! Она ретировалась на кухню, а я в мрачнейших чувствах включила приемник. Пусть уж развлекает, раз поставили. В черной его утробе что-то булькнуло, и бодрый женский голос сообщил, что «... прозвучат в исполнении Алексея Баталова». Не успела я понять, **ЧТО** прозвучат, как полился бархатный баритон:

*Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.*

И, словно по волшебству, новогодние звуки, запахи и краски отступили. Не исчезли, нет, но будто деликатно ступевались перед стихотворными строками. Когда же прозвучала последняя строфа:

*А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?*

– хотелось только двух вещей – чтобы магия поэтического слова продолжалась, и чтобы назвали автора этой магии. И когда бодро было произнесено: «Вы прослушали литературно-музыкальную композицию на стихи Николая Заболоцкого», я не удивилась. Эти проникновенные строки могли принадлежать только ему, создавшему изумительное поэтическое переложение «Слова о полку Игореве» и жемчужину его – «Плач Ярославны». Как, затаив дыхание, слушали мы в школе полные любви и нежности слова:

*Возледей же князя, господине,
Сохрани на дальней стороне,
Чтоб забыла слёзы я отныне,
Чтобы жив вернулся он ко мне!*

Нет, я уже не жалела о бесцельно проведенных часах постельного режима. И даже любимый праздник заиграл для меня новыми красками. Одни только завораживающие строки:

*Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-то повенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная ты моя женщина,*

– забирали сердце в сладкий плен. Обычные слова, переплавленные в горниле таланта и любви, являли миру чудо. И с ним не хотелось расставаться. И хотелось узнать об их авторе как можно больше. Так началось мое открытие мира Николая Заболоцкого. Мира сложного, путаного, не всегда понятного, но невероятно притягательного.

Николай Алексеевич Заболоцкий родился 7 мая 1903 года близ Казани. Отец его был крестьянин, выучившийся на агронома, а мама – учительница, приехавшая с мужем в деревню из города. В третьем классе сельской школы Николай Заболоцкий начал издавать свой рукописный журнал с собственными стихами и очень любил творчество Блока и Ахматовой.

В 1920 году Заболоцкий уехал в Москву и поступил одновременно на филологический и медицинский факультеты Московского университета. Он выбрал медицинский, но проучился всего семестр и, не выдержав студенческой нищеты, вернулся к родителям в город Уржум.

Потом он переехал в Петроград, где поступил на отделение языка и литературы Пединститута имени Герцена, которое окончил в 1925 году. За душой к тому времени он имел, по собственному признанию, «объемистую тетрадь плохих стихов». А в 1926 году он был призван на военную службу. Армейская служба с 1926 по 1927 год пошла ему на пользу – именно в эти годы он написал свои первые значимые поэтические произведения.

Очень любил живопись. Любимыми художниками его были Шагал и Брейгель. Умение видеть мир глазами художника осталось у поэта на всю жизнь и повлияло на своеобразие поэтической манеры.

В 1927 году вместе с Даниилом Хармсом, Александром Введенским и Игорем Бахтеревым Заболоцкий основал литературную футуристическую группу ОБЭРИУ. В том же году состоялось первое публичное выступление обэриутов «Три левых часа». Заболоцкий стал в одночасье известным.

«Заболоцкий был румяный блондин среднего роста, склонный к полноте, – вспоминал писатель Николай Корнеевич Чуковский, – с круглым лицом, в очках, с мягкими пухлыми губами. Наружность у него была самая, что ни на есть, бухгалтерская, совсем не поэтическая. Манеры у него смолоду были степенные, даже важные. Впоследствии я даже как-то сказал ему, что у него есть врожденный талант важности – талант, необходимый в жизни и избавляющий человека от многих напрасных унижений. Сам я этого таланта был начисто лишен, всегда завидовал людям, которые им обладали, и, быть может, поэтому так рано подметил его в Заболоцком. Странно было видеть такого степенного человека с важными медлительными интонациями басового голоса в беспардонном кругу обэриутов – Хармса, Введенского, Олейникова. Нужно было лучше знать его, чем знал его тогда я, чтобы понять, что важность эта картонная, бутафорская, прикрывающая целый вулкан озорного юмора, почти не отражающегося на его лице и лишь иногда зажигающего стекла очков особым блеском».

Первый сборник стихов «Столбцы» вызвал бурю восхищения и негодования одновременно. Начиналась борьба против формализма, рождался социалистический реализм, а «Столбцы» не вписывались в него оригинальной авторской философией. Заболоцкого начали травить, причем больше усердствовали ближайšie бывшие единомышленники. Но он не подавал виду, что ему тяжело или больно. Ведь *«душа обязана трудиться»* – этими своими почти предсмертными строчками он выразил жизненное кредо, сформированное в молодые годы. И он не позволял душе лениться, расслабляться, жалеть себя.

«Искусство похоже на монастырь, где людей любят абстрактно. Искусство – не жизнь. Мир особый. У него свои законы, и не надо его бранить за то, что они не помагают нам варить суп», – писал он одному из друзей.

На выпускнице Петербургского педагогического института Екатерине Клыковой Николай Заболоцкий женился в 1930 году. В этом браке у него родилось двое детей. С женой и детьми он жил в Ленинграде, в «писательской надстройке» на канале Грибоедова.

«Это была, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни, – писал об Екатерине Васильевне, жене Заболоцкого, Евгений Шварц. – Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкий угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Комнату снимали у хозяйки квартиры. И мебель была хозяйкина. Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников (весьма острые на язык) ни слова о ней не сказали. Так мы и привыкли к тому, что Заболоцкий женат».

В 1933 году Заболоцкий написал поэму «Торжество земледелия». И сразу после ее выхода власти признали Заболоцкого «апологетом чуждой идеологии» и «поборником формализма». В этом же году должна была выйти книга его стихов, но ее издание притормозили. Чтобы заработать себе деньги на жизнь, Заболоцкий начал работать в детской литературе, писал стихи и прозу для детей.

В 1937 году был опубликован второй сборник стихов Заболоцкого под названием «Вторая книга», а 19 марта 1938 года поэт был арестован и осуждён за якобы антисоветскую пропаганду. От смертной казни его спасло то, что он не признал обвинения в создании контрреволюционной организации. Его приговорили к пяти годам заключения. В реальности отсидел семь, включая два года ссылки.

Представление о лагерной жизни даёт книга «Сто писем 1938 – 1944 годов». Она была подготовлена самим Николаем Алексеевичем. В нее были включены выдержки из его писем к жене и детям и мемуаров:

«Первые дни меня не били, стараясь разложить морально и физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом – сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали...».

Его мемуары «История моего заключения» были опубликованы за рубежом в 1981 году, а в России – лишь в 1988 году.

В лагере Заболоцкий закончил переложение «Слова о полку Игореве», начатое им в 1937 году, Это был не только творческий, но и нравственный подвиг. Создать в невыносимых условиях, на грани жизни смерти, замечательный поэтический перевод «Слова» – означало величайшую победу человеческого духа над низостью и подлостью окружающего мира. Перевод имел огромный успех. Это помогло Николаю Алексеевичу при помощи Фадеева добиться освобождения, и в 1946 году поэт вернулся в Москву.

В том же году Заболоцкий был восстановлен в Союзе писателей и получил разрешение жить в столице. Вроде бы, страдания остались позади, но жить его семье было негде. В первое время с риском для себя его приютили старые друзья Н.Степанов и И.Андроников.

«Н.А. пришлось спать на обеденном столе, так как на полу было холодно, – вспоминал Степанов. – Да и сами мы спали на каких-то ящиках. Н.А. педантично складывал на ночь свою одежду, а рано утром был уже такой же чистый, вымытый и розовый, как всегда...».

Позже писатель Василий Ильенков любезно предоставил Заболоцким свою дачу в Переделкино.

Николай Чуковский вспоминал: «Березовая роща неизъяснимой прелести, полная птиц, подступала к самой даче Ильенкова». Об этой березовой роще в 1946 году Заболоцкий написал полные неизбывной нежности строки:

*В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиной
Льются листья с высоких ветвей, –
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.*

На даче Ильенкова Заболоцкий трудолюбиво возделывал огород. «Положиться можно только на картошку», – сурово отвечал он тем, кто интересовался его литературными заработками.

«Вообще в нем в то время жило страстное желание уюта, покоя, мира, счастья, – вспоминал Николай Чуковский. – Он не знал, кончились ли уже его испытания, и не позволял себе в это верить. Он не смел надеяться, но надежда на счастье росла в нем бурно, неудержимо. Жил он на втором этаже, в самой маленькой комнатке дачи, почти чулане, где ничего не было, кроме стола, кровати и стула. Чистота и аккуратность царствовали в этой комнатке – кровать застелена по-девичьи, книги и бумаги разложены на столе с необыкновенной тщательностью. Окно выходило в молодую листву берез. Николай Алексеевич бесконечно любовался этой березовой рощей, улыбался, когда смотрел на нее.

...Это действительно был твердый и ясный человек, но в то же время человек, изнемогавший под тяжестью невзгод и забот. Бесправный, не имеющий постоянной московской прописки, с безнадежно испорченной анкетой, живущий из милости у чужих людей, он каждую минуту ждал, что его вышлют, – с женой и двумя детьми. Стихов его не печатали, зарабатывал он только случайными переводами, которых было мало и которые скудно оплачивались. Почти каждый день ездил он по делам в город – два километра пешком до станции, потом дачный паровозик. Эти поездки были для него изнурительны – все-таки шел ему уже пятый десяток».

В последнее десятилетие своей жизни Заболоцкий активно переводил произведения зарубежных поэтов и поэтов народов СССР, особенное предпочтение отдавая грузинской поэзии. С легкой руки Заболоцкого многие грузинские поэты обрели русского читателя.

О выполненном Заболоцким переводе «Слова о полку Игореве» Чуковский писал, что он «точнее всех наиболее точных подстрочников, так как в нём передано самое главное: поэтическое своеобразие подлинника, его очарование, его прелесть».

Сам же Заболоцкий сообщал в письме Степанову: «Сейчас, когда я вошёл в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, где

камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого истребления, стоит этот одинокий, ни на что не похожий, собор нашей древней славы».

С молодыми поэтами Заболоцкий не общался, да и не стремился к этому. Вообще, производил впечатление человека замкнутого, будто застегнутого на все пуговицы. Уйдя раз и навсегда от новаторских экспериментов «Столбцов», с годами он принимал в поэзии только классические образцы.

За последние три года жизни Заболоцкий создал около половины всех своих стихотворений. В 1957 году вышел последний сборник Николая Заболоцкого, изданный при жизни автора. В него вошло 64 стихотворения и лучшие переводы.

И последние три года жизни подарили поэту невероятный калейдоскоп эмоций, от личных – самых тяжелых и даже унижительных, и до вершин его поэтического творчества. Именно в эти годы были созданы шедевры «Некрасивая девочка», «Есть лица, подобные пышным порталам», «Душа обязана трудиться», «Очарована, околдована», «Последняя любовь» и проч.

В 1955 году у Заболоцкого случился первый инфаркт. Жена его, Екатерина Васильевна, была готова ради него на любые лишения, на любой подвиг. В первые годы их совместной жизни Заболоцкий был не только беден, а практически нищ; и ей, с двумя крошечными детьми, пришлось хлебнуть немало горя. К середине тридцатых годов Николай Алексеевич стал зарабатывать лучше, у них появилось жилье в Ленинграде, налачился быт; но после двух-трех лет призрачного благополучия все рухнуло – его арестовали. Положение Екатерины Васильевны стало отчаянным. Жена арестованного «врага народа», она была лишена всех прав, даже в человеческом милосердии ей отказывали. А вскоре выслали из Ленинграда, предоставив возможность жить только в самой глухой провинции. И она выбрала город Уржум Кировской области – потому что городок этот был родиной ее мужа. Она жила там в страшной нищете, растила детей, пока, наконец, в 1944 году Николай Алексеевич не был освобожден из лагеря и не получил разрешение жить в Караганде. Она сразу, взяв детей, переехала в Караганду к мужу. Вместе с ним мыкалась она в Караганде, потом вслед за ним переехала под Москву, в Переделкино, чтобы и тут мыкаться не меньше. Мучительная жизнь их стала входить в нормальную колею только в конце сороковых годов, когда они получили двухкомнатную квартиру в Москве, и он начал зарабатывать стихотворными переводами.

Николай Чуковский вспоминал о ней: «В эти годы я близко наблюдал их семейную жизнь. Более молчаливого и тихого существа я не видел. Она была сама женственность, сама мягкость. Я сказал бы, что в преданности и покорности Катерины Васильевны было даже что-то чрезмерное. Николай Алексеевич всегда оставался абсолютным хозяином и господином у себя в доме. Все вопросы, связанные с жизнью семьи, кроме мельчайших, решались им единолично. У него была прирожденная склонность к хозяйственным заботам, особенно развившаяся благодаря испытанной им крайней нужде. В лагере у него одно время не было даже брюк, и самый тяжелый час его жизни был тот, когда их, заключенных, перегоняли через какой-то город и он шел по городской улице в одних кальсонах. Вот почему он с таким вниманием следил за тем, чтобы в доме у него было все необходимое. Он единолично распоряжался деньгами и сам покупал одеяла, простыни, одежду, мебель. Катерина Васильевна никогда не протестовала и, вероятно, даже не давала советов. Когда ее спрашивали о чем-нибудь, заведенном в ее хозяйстве, она отвечала тихим голосом, опустив глаза: «Так желает Коленька», или «Так сказал Николай Алексеевич». Она никогда не спорила с ним, не упрекала его – даже когда он выпивал лишнее, что с ним порой случалось. Спорить с ним было нелегко – я, постоянно с ним споривший, знал это по собственному опыту. Он до всего доходил своим умом и за все, до чего дошел, держался крепко. И она не спорила... И вдруг она ушла от него к другому. Нельзя пере-

дать его удивления, обиды и горя. Эти три душевных состояния обрушились на него не сразу, а по очереди, именно в таком порядке. Сначала он был только удивлен – до остолбенения – и не верил даже очевидности. Он был ошарашен тем, что так мало знал ее, прожив с ней три десятилетия в такой близости. Он не верил, потому что она вдруг выскочила из своего собственного образа, в реальности которого он никогда не сомневался. Он знал все поступки, которые она могла совершить, и вдруг в сорок девять лет она совершила поступок, абсолютно им не предвиденный. Он удивился бы меньше, если бы она проглотила автобус или стала изрыгать пламя, как дракон. Но когда очевидность сделалась несомненной, удивление сменилось обидой. Впрочем, обида – слишком слабое слово. Он был предан, оскорблен и унижен. А человек он был самолюбивый и гордый. Бедствия, которые он претерпевал до тех пор, – нищета, заключение, – не задевали его гордости, потому что были проявлением сил, совершенно ему посторонних. Но то, что жена, с которой он прожил тридцать лет, могла предпочесть ему другого, унизило его, а унижения он вынести не мог. Ему нужно было немедленно доказать всем и самому себе, что он не унижен, что он не может быть несчастен оттого, что его бросила жена, что есть много женщин, которые были бы рады его полюбить. Нужно жениться. Немедленно. И так, чтобы об этом узнали все. Он позвонил одной женщине (*Наталье Роскиной – дочери литературоведа А. Роскина – Л.Б.*), одинокой, которую знал мало и поверхностно, и по телефону предложил ей выйти за него замуж. Она сразу согласилась. Для начала супружеской жизни он решил поехать с ней в Малеевку, в Дом творчества. В Малеевке жило много литераторов, и поэтому нельзя было выдумать лучшего средства, чтобы о новом его браке стало известно всем. Подавая в Литфонд заявление с просьбой выдать ему две путевки, он вдруг забыл фамилию своей новой жены и написал ее неправильно. Я не хочу утверждать, что с этим новым его браком не было связано никакого увлечения. Сохранилось от того времени одно его стихотворение, посвященное новой жене, полное восторга и страсти: «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина...». Но стихотворение это осталось единственным, больше ничего он новой своей жене не написал. Их совместная жизнь не задалась с самого начала. Через полтора месяца они вернулись из Малеевки в Москву и поселились на квартире у Николая Алексеевича. В этот период совместной их жизни я был у них всего один раз. Николай Алексеевич позвонил мне и очень просил прийти. Я понял, что он чувствует необходимость как-то связать новую жену с прежними знакомыми, и вечером пришел. В квартире все было, как при Екатерине Васильевне, ни одна вещь не сдвинулась с места, стало только неряшливее. Печать запустения лежала на этом доме. Новая хозяйка показалась мне удрученной и растерянной. Да она вовсе и не чувствовала себя хозяйкой – когда пришло время накрывать на стол, выяснилось, что она не знает, где лежат вилки и ложки. Николай Алексеевич тоже был весь вечер напряженным, нервным, неестественным. По-видимому, вся эта демонстрация своей новой жизни была ему крайне тяжела. Я высидел у него необходимое время и поспешил уйти. Через несколько дней его новая подруга уехала от него в свою прежнюю комнату, и больше они не встречались. И удивление, и обида – все прошло, осталось только горе. Он никого не любил, кроме Катерины Васильевны, и никого больше не мог полюбить. Оставшись один, в тоске и в несчастье, он никому не жаловался. Он продолжал так же упорно и систематично работать над переводами. Он тосковал по Екатерине Васильевне и с самого начала мучительно беспокоился о ней. Он думал о ней постоянно. Шло время, он продолжал жить один – с взрослым сыном и почти взрослой дочерью, очень много работал, казался спокойным. Я вдруг узнал, что Заболоцкий в городе, у себя на квартире, и к нему вернулась Катерина Васильевна. Трудно сказать, как он поступил бы дальше, если бы был в состоянии распорядиться собой. Мы этого не знаем и никогда не узнаем, потому что сердце его не выдержало

и его свалил инфаркт. После инфаркта он прожил еще полтора месяца. Состояние его было тяжелым, но не казалось безнадежным. По-видимому, только он один и понимал, что скоро умрет. Все свои усилия после инфаркта – а он не позволял душе лениться! – он направил на то, чтобы привести свои дела в окончательный порядок. Со свойственной ему аккуратностью он составил полный список своих стихотворений, которые считал достойными печати. Он написал завещание, в котором запретил печатать стихотворения, не попавшие в этот список. Завещание это подписано 8 октября 1958 года, за несколько дней до смерти. Ему нужно было лежать, а он пошел в ванную комнату, чтобы почистить зубы. Не дойдя до ванной, он упал и умер...».

За несколько дней до этого Заболоцкий записал в дневнике: *«Литература должна служить народу, это верно, но писатель должен прийти к этой мысли сам, и притом каждый своим собственным путем, преодолев на опыте собственные ошибки и заблуждения».*

Незадолго до смерти Николай Алексеевич написал литературное завещание, в котором точно указал, что должно войти в его итоговое собрание, структуру и название книги.

Аккуратность, доведенная до педантизма, до скрупулезной точности? Или просто особая организация души и жесткая самодисциплина?.. Ну, что же... Ведь это он писал, обращаясь, в первую очередь, к себе самому:

*Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!*

Эти строки были написаны за несколько дней до смерти. Какая выдержка, если не сказать – спокойное величие души!

Те предновогодние дни одарили меня не только нудным постельным режимом. Тогда в мою душу прочно вошла поэзия Заболоцкого. Наверно, это и было моим главным подарком в тот далекий 1981 год. И три волшебных праздничных кита – **Запахи, Звуки, Краски** – не померкли, а стали чуть сдержаннее, строже, тоньше. Словно свет далекой печальной звезды преломился в сияющем елочном шаре. Я сохранила этот свет в памяти сердца.

*Что счастье наше? – лишь зарница,
Лишь отдаленный слабый свет.*

*Оно так редко нам мелькает,
Такого требует труда!
Оно так быстро потухает
И исчезает навсегда!*

*Как ни лелей его в ладонях
И как к груди ни прижимай, –
Дитя зари, на светлых конях
Оно умчится в дальний край!*

Прим. При написании эссе были использованы материалы из Интернета и воспоминания писателя Николая Корнеевича Чуковского.

В карантине

Новелла

Картина вырисовывалась невеселая. Владимир Иванович Князев – крепкий, мо­ложавый в свои шестьдесят семь лет мужчина оказался заложником собственного дома. Карантин...

Князев не желал быть иллюстрацией к пушкинским строчкам: «Иль со скуки околею где-нибудь в карантине», но все вело именно к этому. С конца марта был запре­щен выход из дома людям старше шестидесяти пяти лет, а в начале апреля и вовсе посадили дома всех. Теперь, чтобы выйти из дома, надо было послать смс-ку на специальный номер и получить разрешение полиции.

Владимир Иванович не хотел разбираться в истории некоего царственного ви­руса, охватившего планету. К воплям СМИ он относился скептически, твердо помня усвоенную еще со студенчества фразу из песни: «А мы живем себе и движемся впе­ред/ И если кто-нибудь когда-нибудь помрет,/ На то она история, история, которая/ Ни слова, ни полслова не соврет!». Князев знал, что истерия с вирусом непременно утихнет. А история затем вынесет оценку нынешнему времени, но эта оценка вряд ли будет зависеть от мнения людей.

Телевизор смотреть не хотелось. Из него беспрестанно неслись новости, одна страшнее другой. В такой-то стране погибло столько-то, а в другой столько-то. Вести из компьютера были не лучше. Все, словно сговорившись, наперебой галдели, что стресс подрывает иммунитет, и делали все возможное, чтобы этого стресса было больше.

Но выключенные телевизор и комп положения не спасали. В доме все свер­кало, искрилось и дышало уютом, благо жена была домовитой. Везде чувствовался хозяйский глаз, а дом, как известно, именно его и любит. Но вторая неделя заточе­ния давалась с трудом.

Жена Рада словно погрузилась в анабиоз. После завтрака часами могла дре­мать, опустив руки на колени. Шаги ее, и без того тихие, стали в последнее время шелестящими. И таким же тихим, шелестящим стал голос. С таким звуком иногда стучит в окно вкрадчивый осенний дождь: руш-руш.

Иногда Князеву казалось, что за окном и вправду осень, хотя во всем уже чув­ствовалась весна – на тополях за окном набухли почки, сирень уже разворачивала листья, и в траве повсюду голубели мелкие цветы вероники. Но времена года кол­довским образом поменялись местами, за окном маленькой квартиры весна и вправду ощущалась как осень. По всем повадкам в жене Князева угадывались спокойствие и кротость. Чувствовалось, что особо беспокоиться ей не о чем: дом в порядке, про­дуктами забита кладовка и холодильник, слава Богу, они с мужем сыты, обуты-одеты. Единственный сын давно и счастливо женат, проживает в другом городе. И вся его семья жива и здорова, и они регулярно переговариваются с родителями по телефону и скайпу.

Невозмутимость жены подбадривала Владимира Ивановича: хорошо, когда рядом есть человек-скала. Это грозное слово не вполне подходило к миниатюрной шестидесятитрехлетней женщине – о возрасте говорили только белые, чуть подси­ненные волосы, мелкая сеточка морщин у глаз и узловатые руки с выбухшими ве­нами. И все же в жене было что-то несокрушимое. Недаром говорят, что женщины выносливее. Но порой эта каменная флегматичность вызывала раздражение: все во­круг завертелось-закружилось, люди на грани паники, все в масках и перчатках, не знаешь, что будет дальше, а ей хоть бы хны. Заранее отоварилась, заплатила по ком­мунальным счетам, чтобы лишний раз не выходить, и заперлась дома.

Князев же не находил себе места. Натура деятельная, привыкшая руководить и все держать под контролем, он энергичными шагами переходил от одного окна к другому, то и дело вглядывался, будто пейзаж за окном мог измениться за минуты. Пробовал читать, но то ли глаза уже уставали даже в очках, то ли исчезла способность воспринимать размеренное повествование, но больше десяти минут он не выдерживал и снова принимался шагать из угла в угол. Не бездеятельность, а то, что он был словно исключен из реальной жизни и потерял над ней контроль угнетали его.

– Что сидишь? – срывал он досаду на жене.

Та будто встряхивалась от странного сна и отвечала тихо:

– А что? – и потом, вдруг спохватившись, спрашивала чуть громче: – Есть хочешь?

Есть Владимир Иванович не хотел: мудрено нагулять аппетит, когда два часа после завтрака тупо лежишь на диване. И эта заботливость жены бесила его. Уж лучше бы она сорвалась, накричала, заплакала – все лучше, хоть какая-нибудь разрядка. Но Рада, будто героиня некрасовской поэмы, сидела «и стыла в своем заколдованном сне». Однажды он все-таки достал ее. Она нетерпеливо повела плечами, вскинулась и ответила резко:

– Что ты хочешь? Я все это знаю. Привычная я. Когда папа болел, мы ведь сутками от него не отходили с мамой. Или ты забыл?

Князев смолк. В самом деле, он забыл, как тридцать семь лет назад жена и теща самоотверженно ухаживали за капризным и упрямым стариком-тестем.

Жена Князева была поздним и долгожданным ребенком у родителей, а отец ее к тому же был намного старше матери. Когда Рада родилась, отцу было под шестьдесят, а матери чуть больше сорока лет. Князев никак не мог понять, какая «химия» некогда связала тестя и тещу – они были абсолютно разными людьми. Высокий, белобрысый, похожий на немецкого офицера тесть и миниатюрная брюнетка теща. Он – молчун с саркастичной улыбкой, она – задорная хохотушка. Чем мог покоришь сердце молодой красавицы пожиловатый флегматик, оставалось загадкой, но даже издали было видно, как трепетно эти двое относились друг к другу. Он не принимал ни одного решения без нее, она всякий раз хранила молчание до тех пор, пока муж не высказывал своего мнения о чем-либо.

Теща, правда, рассказывала, что когда она начала встречаться с будущим мужем, то была покорена его эрудицией и спросила, неужели он знает все? На что тот совершенно серьезно ответил, что «не все, но три четверти знаю».

И это действительно было так. Из тестя трудно было вытянуть слово, он все больше предпочитал наблюдать за окружающими, покусывая тонкие губы. Всегда безукоризненно одетый, он усаживался в дальнем углу комнаты, шурил умные глаза на собеседников и молчал. Но близкие затем изумлялись кратким и точным характеристикам, которые он давал людям. А в те редкие минуты, когда теща увлекала тема разговора, он говорил так, что можно было слушать бесконечно. Блестяще, убедительно, интересно. И обо всем! Казалось бы, от него, геофизика, должны быть далеки проблемы композиторского искусства, тонкости футбола или особенности александрийского стиха, но нет! Князев поражался, как в маленькой сухонькой голове мог быть сконцентрирован такой клад знаний, и в таком четком и изящном порядке. И какая жадность к новому, какой меткий и цепкий взгляд, мгновенно выделяющий из моря разных сведений самое ценное.

Князев отчетливо вспомнил последние годы жизни тестя. Восьмидесятишестилетний, измученный тяжелой болезнью, похожий на кондора, тесть не потерял ни ясности ума, ни изящества речи, ни цепкости взгляда. Вахту, которую неотступно несли возле него жена и дочь, он принимал милостиво-иронично. Только зятю однажды удалось поймать полный горечи взгляд и понять, какая тоска и стыд скрывались за этой иронией.

Однажды тесть попросил подать ему зеркало и долго разглядывал себя и задно молодое, розовощекое лицо зятя. Затем прошептал иронично:

– Гамлет и почти череп Йорика. Ты не считаешь, что нашими физиономиями можно иллюстрировать трагедию Шекспира?

Владимир Иванович, тогда еще Володя, что-то слабо запротестовал, но тесть усмехнулся и подмигнул. Кожа на веке была тоненькая, как пленка на птичьем глазу, и видно было, как под ней подрагивает глазное яблоко.

– Стыдно-то как, – едва слышно произнес он. – Дожил... Обиходить себя не могу... – и затем чуть погромче: – Расскажи что-нибудь.

– Что? – растерялся Князев.

– Что хочешь... Хоть про второй съезд РСДРП! Нет, про него не надо. Расскажи про свое детство.

– Да я не знаю, – замялся Князев, – не помню.

– Что помнишь. Только хорошее. Не может быть, чтобы ты не помнил хорошего.

– Я у деда в детстве любил бывать, – сбивчиво начал Князев. – Он в деревне жил, маленькой. С трех сторон горы, а с четвертой – река. Крошечная деревня, и домик у деда был маленький и старый. И все было там старое, – Князеву явно хотелось быстрее отделаться от разговора.

– Продолжай!

– Но нигде, как там, не пахли так ароматно травы. – Князев задумался и улыбнулся любяще. – Даже в разгар лета пахло нежно, будто весной. Лежишь в траве, смотришь на небо, а там облака плывут, лениво так, плавно. А в траве цикады и сверчки стрекочут, журавельник, кашка, клевер цветут. Запах от них!.. И торта никакого не надо!

– А ты бездельничаешь? – выдохнул тесть и улыбнулся уголком рта.

– Ну, так... – сбился Князев

– И правильно делаешь! – голос тестя лился слабо, с перерывами, но уверенно.

– Дураки те, кто думает, что безделье неплодотворно. В таком кажущемся безделье, может, и творится главная работа души. Она приводит себя в порядок, и мысли становятся яснее и строже. Продолжай!

– У деда огород был большой – два гектара. И в огороде много чего: малина, картошка, огурцы, сливы, кукуруза, фасоль, зелень разная. Ешь, не хочу. А слив вообще было видимо-невидимо, не только на нашу семью хватало. Дед еще и дяде их посылал, и соседей одаривал, и варенье варил, и еще с плодово-ягодного комбината приезжала машина, забирала часть урожая. Выйдешь утром в огород, а там все цвета радуги – листья, трава зеленые, сливы синие, кукуруза желтеет, малина алая-алая. И все блестит под солнцем – тугое, нарядное!

– Славно, – одобрительно кивал тесть, и видно было, что ему хорошо от этой картины земной благодати.

– Только дед больше всего мясо любил. – Князев сам не заметил, как увлекся рассказом и улыбался все чаще. – Не мог без мяса. Если хоть один день без мяса, так он ворчал, что сил нет, что в огороде работать не может. Бывало, утром нажарит себе жирной баранины с луком, за милую душу все уплетет, выпьет стакан сладкого чая и идет в огород. И пока смеркаться не станет, все землю тяпает, грядки вскапывает, поливает. Придет, а рубашка у него – черная от пота, и сам черный, одни зубы белеют. Но смеется, говорит: земля труды любит, тогда и урожай хороший будет.

– Один работал? – тесть слушал внимательно, ловя каждое слово.

– Да. Не любил, когда ему мешали. Я у него так был – подай-принеси, то тяпку, то лопату, то кран открыть-закрыть. А еще учил землю нюхать.

– Как это? – тесть даже вскинулся от нетерпения.

«Надо же, сколько жажды знания в человеке!» – подивился про себя Князев.

– Проверял по весне, чтобы земля к семенам была готова. Возьмет горсть земли, в кулаке крепко сожмет, потом поднесет к лицу, понюхает, а потом кулак разожмет. Если земля сыростью еще пахнет, но при падении рассыпается, значит, пора сеять. А если очень влажная и падает комком – еще не поспела.

– А говоришь – не помнишь! – удовлетворенно хмыкал тесть. – Хорошо! Сколько живу, а еще век бы жил, на красоту такую любовался.

Такие разговоры случались у Князева с тестем часто. Перерывы были на процедуры умывания, переворачивания, массажа и кормления. Владимир Иванович вспомнил, как терпеливо, стараясь не причинить боли, ухаживали за стариком жена и дочь. День за днем, месяц за месяцем – все долгие четыре с половиной года.

«Тогда, наверно, и научилась терпению, – взглянул на жену Князев. – Просто приказала себе: «так надо» и все. И выстояла. И за матью потом еще ухаживала, и дом не забросила. И все тихо, спокойно так. Силища-то какая невероятная. С такой и вправду не пропадешь! Скала. Хотя какая там скала – утес маленький!»

Он еще раз посмотрел на свою Раду. Та по-прежнему сидела, опустив на колени руки и словно дремала. Теплое, грустное, хорошее чувство затопило его сердце. Утихло бывшее раздражение, хотелось думать о чем-то светлом и милom и верить в то, что плохое непременно сменится радостью.

Князев вспомнил, что на рабочем столе тестя всегда была старинная астролябия, подаренная ему отцом. И тесть дорожил этой астролябией и таким же старинным барометром, висевшим на стене. Барометр был медный и уже позеленел от старости, но предсказывал погоду верно. И когда после долгой непогоды стрелка, наконец, указывала «ясно», тесть щелкал по прибору и цитировал негромко:

*Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала...¹*

И лицо старика озарялось такой редкой и так красящей его улыбкой. В эти минуты Князев понимал, почему жена и дочь так беззаветно преданы ему, и что их взор по-прежнему очарован им. Редко в ком жила такая неистребимая жажда жизни и вера в добро, как в этом нетерпеливом, желчном, но таком романтичном человеке.

– Все живет, все меняется, Рада, – приобнял жену Князев. – Пора метелей злых и бурь минует. И снова заблестит небесная лазурь. Даже стихи позабытых поэтов не умирают, и наши близкие живы, пока мы о них помним. И нужно жить и делать ежедневную маленькую работу, и смотреть вперед, только вперед, и тогда никакие бури и карантинны не страшны.

Жена посмотрела на него кротко и удивленно:

– Так я об этом тебе и говорю. Только ты слушать не хочешь. Обойдется все. Справимся.

Она тихонько сжала локоть мужа, одновременно поддерживая и опираясь.

Весна расцветала за их окном, и вечер догорал алым закатом.

И Князев понял мгновенно: действительно справятся!

И душистый весенний дождь громко забарабанит по крыше и смое тоску и тревогу этих дней. Только ему под силу это, только ему...

¹ А.Н.Плещеев «Весна»